

МАКСИМОВИЧ ЖЕЛЬКО

ЕВРАЗИЙСКИЙ ПАН-РЕГИОН

НАУКА —
ДВИГАТЕЛЬ
ПРОГРЕССА!

АИ, СССР КОЗЛОВА 2

ЕДИНСТВО • РАЗВИТИЕ • БУДУЩЕЕ



Желько Максимович АИ, СССР Козлова 2

<https://litres.ru/74338884>

SelfPub; 2026

Аннотация

Альтернативно-исторический роман о Фроле Романовиче Козлове, втором человеке в партии после Хрущёва, который в сентябре 1957 года становится точкой бифуркации советской истории. Инсульт Хрущёва открывает окно возможностей — и Козлов, инженер-физик по образованию, сын кузнеца, делает выбор: не откатывать реформы назад (как предлагает Молотов) и не бросаться в утопический рывок (как искушают видения), а строить третий путь — медленную, методичную, стратегическую сборку Евразийского пан-региона.

Геостратегия — это не наука о победе. Это искусство скорби по несбывшемуся. Каждое решение убивает альтернативное будущее. Но история — дерево, а не цепь: срубленные ветви продолжают влиять на рост кроны. И главный вопрос, проходящий через весь роман и остающийся без ответа: как построить систему, которая переживёт своего создателя?

Желько Максимович АИ, СССР Козлова 2

Глава 1. Точка бифуркации

Стратегическая метка: 17 сентября 1957 года, 23:47. Кремль, кабинет Председателя Совета Министров. Уровень: 5-й этаж власти. Горизонт планирования: 50 лет. Температура за окном: +4°C. Давление: 748 мм рт. ст. Ветер северо-западный, порывистый.

1. Пустота как свидетель

Он стоял у окна и смотрел на Красную площадь — и в этой пустоте было больше правды, чем во всех сводках, которые ему приносили за последние три недели. Площадь лежала перед ним, залитая жёлтым светом прожекторов, мокрая после вечернего дождя, и брусчатка отражала огни Кремлёвской стены — дрожащие, неверные, словно само государство не знало, каким светом ему светить завтра.

Фрол Романович Козлов, пятьдесят три года, седые виски, тяжёлые руки кузнеца — наследство отцовское, не вытравишь никакими министерскими креслами, — второй чело-

век в партии после Хрущёва. А теперь — по странной прихоти истории, по той единственной случайности, которую геостратеги из аналитического центра «Эон» через полвека назовут точкой бифуркации номер один — первый. Единственный. Абсолютный.

Никита Сергеевич лежал в ЦКБ на проспекте Калинина с обширным инсультом уже четвёртый день. Официальные бюллетени молчали. «Врачи рекомендуют покой», «состояние стабильное», «товарищ Хрущёв продолжает работать с документами» — стандартный набор формул, за которыми партийный аппарат умел читать приговор. В кулуарах ЦК уже шептались: правосторонний паралич, речь не восстановлена, прогноз — месяц, от силы два. Аппарат колебался, и это колебание было опаснее любого заговора.

Кабинет на пятом этаже кремлёвского корпуса № 1 — угловой, с видом на Спасскую башню. Высокие потолки, дубовые панели, портрет Ленина в простенке, массивный стол под зелёным сукном, телефон правительственной связи ВЧ-100 слева, вертушка спецсвязи с Генштабом справа. Козлов помнил этот кабинет ещё сталинским — здесь бывал и Берия, и Вознесенский, и Кузнецов, и все они ушли отсюда в небытие через одну и ту же дверь сорок девятого года. Стены помнили. Здание помнило. И он помнил.

Он повернулся к столу.

На зелёном сукне лежали три документа — три возможных будущих, три развилки, каждая из которых ветвилась дальше, в десятилетия, в судьбы миллионов, в ход планетарной истории.

Первый документ — проект постановления Президиума ЦК КПСС «О смещении товарища Хрущёва Н.С. с занимаемых постов по состоянию здоровья», три страницы машинописного текста, подготовленный Молотовым ещё в августе, но не поданный, ожидавший своего часа. Вячеслав Михайлович был осторожен — ему уже перевалило за шестьдесят семь, он пережил Ленина, Сталина и теперь ждал, когда переживёт и Хрущёва. Его план был прост до гениальности: сместить Никиту голосованием Президиума, вернуть коллегиальное руководство — себя председателем Совмина, Маленкова секретарём ЦК, — и медленно, педантично, бухгалтерски откатить все реформы последних трёх лет назад. Целину свернуть. Совнархозы ликвидировать. Антипартийную группу реабилитировать — под другим названием, разумеется, под знаменем восстановления ленинских норм. Стратегический горизонт Молотова не превышал пяти лет. Дальше он не заглядывал — не из недостатка ума, а из особого рода исторической слепоты, поражавшей всех, кто слишком долго простоял рядом с источником абсолютной власти.

Второй документ — его собственный. Двадцать семь страниц, написанных от руки, с правками на полях, с карандашными схемами межотраслевых балансов, с колонками цифр, которые его секретарь Серафим перепечатывал трижды, потому что Фрол Романович каждый раз находил что-то уточнить. «О стратегическом курсе Советского государства на 1957–1980 годы». Заголовок сухой, как и положено партийному документу, но за ним стояло то, чего в советской практике ещё не случалось: попытка спланировать не пятилетку, не семилетку — а поколение. Не промышленность, не сельское хозяйство, не оборону по отдельности, а всю систему сразу, как единый организм.

Третий документ — аналитическая записка. Та, которую он ещё не написал, но уже видел. Видел с той же неумолимой ясностью, с какой его отец когда-то смотрел на раскалённую подкову, вынутую из горна, и знал: один неверный удар, одна секунда промедления — и металл пойдёт трещиной, расколется, и вся работа псу под хвост.

2. Картограф без карты

23 августа 1957 года. За двадцать пять дней до бифуркации.

Он сидел на заседании комиссии по оборонной промышленности и не слышал докладчика — полковника из ГРУ, докладывавшего о новейших американских разработках в области твердотопливных ракет. Слова проходили сквозь него, как радиоволны через пустое пространство, — не задевая, не оставляя следа.

Перед ним на столе лежал блокнот, и его рука, словно отдельно от сознания, выводила странные схемы. Круги. Стрелки. Пересекающиеся линии. Это не было похоже ни на организационную диаграмму, ни на план мобилизационного развёртывания — ничего из того, чему учили в Высшей партийной школе и на специальных курсах при Академии Генштаба. Это больше напоминало карту звёздного неба, спроецированную на политическую географию планеты. Или схему кровеносной системы — но не человека, а чего-то гораздо большего.

«Что вы там рисуете, Фрол Романович?» — спросил сидевший рядом Устинов, наклонившись к его плечу.

Козлов перевернул страницу.

«Ничего. Мысли вслух.»

Поздним вечером того же дня — нет, уже ночью, потому

что стрелки на Спасской башне показывали начало второго, — он сидел в том же кабинете, но уже без пиджака, в одной рубашке с закатанными рукавами, и продолжал чертить. Секретарь давно ушёл. Охрана в приёмной сменилась. Город спал — или притворялся, что спит, как притворяются спящими все столицы во все времена, когда наверху решается вопрос власти.

Он думал о том, о чём не думали другие.

Американский пан-регион. Это словосочетание он вычитал три месяца назад в аналитической записке, составленной группой экономистов из Новосибирского Академгородка, — записке, которую заказал лично, в обход всех инстанций, используя право члена Президиума ЦК на получение информации любого уровня секретности. Авторы — трое математиков, работавших над межотраслевым балансом, — применили к внешнеполитическим данным тот же метод, что и к экономическим: системный анализ. И выводы их были столь же неожиданны, сколь и тревожны.

Соединённые Штаты, утверждали они, не строят империю в классическом смысле. Они не аннексируют территории — это слишком дорого политически. Они не насаждают марионеточные режимы штыками — это неэффективно в долгосрочной перспективе. Вместо этого они создают цивилиза-

ционную оболочку: доллар как мировую резервную валюту, Голливуд как фабрику смыслов и образов, корпоративные сети как новую форму экономического суверенитета, технологический экспорт как инструмент зависимости. К середине шестидесятых эта оболочка накроет Западную Европу и Японию. К середине семидесятых — Латинскую Америку и Ближний Восток. К концу века — всё, что останется вне советского блока.

И тогда противостояние будет проиграно не в военном смысле — ракет у СССР хватит ещё надолго, — а в смысле цивилизационном. Советский проект окажется не уничтожен, но вытеснен — как вытесняется из экосистемы вид, не сумевший вовремя адаптироваться к изменившимся условиям.

Авторы записки предлагали встречную стратегию — строительство собственного пан-региона. Но их предложение было абстрактным: они были математиками, не политиками. А Козлов, прочитав записку трижды, понял: это и есть та задача, которую ему предстоит решить. Не через десять лет. Не через пять. Сейчас.

Сложность заключалась в том, что строить пан-регион предстояло не на пустом месте и не с чистого листа. Существовала инерция сталинской модели — гигантской, непово-

ротливой, заточенной под внешнюю экспансию. Существовала хрущёвская импровизационность — Никита Сергеевич реформировал импульсивно, рывками, без долгосрочного плана: совнархозы, кукуруза, целина, жилищное строительство — всё это были отдельные прорывы, не объединённые общей логикой. Существовала партийная номенклатура — сотни тысяч людей, чьё благополучие зависело от сохранения статус-кво. И существовали союзники по Варшавскому договору — страны, формально суверенные, фактически зависимые, но уже начинавшие поглядывать на Запад с тем особым выражением, какое появляется у должника, когда он понимает, что кредитор слабеет.

Козлов понимал: единственный шанс — не внешняя экспансия, а внутренняя консолидация. Новый технологический уклад, который должен прийти на смену индустриальному не через закупку западных патентов и лицензий — это было бы капитуляцией, признанием собственного вторичного статуса, — а изнутри, через собственную научную базу, через мобилизацию того интеллектуального ресурса, который ещё не был растрачен. Третий технологический уклад — микроэлектроника, вычислительная техника, новые материалы, — должен был родиться здесь, в советских НИИ и КБ, раньше, чем в Кремниевой долине, которая пока ещё даже не называлась Кремниевой.

Но для этого требовалась политическая воля. Не коллективная — коллективная воля в такие моменты всегда запаздывает, усредняет, ищет компромисс. Требовалась воля единоличная. Абсолютная.

Та самая, которой он сейчас обладал — или мог обладать, если сделает правильный выбор в ближайшие сорок восемь часов.

3. Голос из колодца

14 сентября 1957 года. За три дня до бифуркации.

Серафим положил на стол папку без грифа — такие папки существовали в единственном экземпляре и не регистрировались ни в одном журнале. Козлов открыл её и увидел три листа машинописного текста. Без подписи. Без даты. Без указания источника.

«Откуда?»

«Курьер из внешней разведки. Сказал — лично Сахаровский просил передать.»

Александр Михайлович Сахаровский, начальник Первого главного управления КГБ — внешней разведки, — был

тем человеком, которому Козлов доверял больше, чем кому-либо за пределами своего ближнего круга. Они познакомились четыре года назад, когда Козлов курировал от ЦК ленинградскую оборонку, а Сахаровский работал по американскому направлению. Два человека, понимавших друг друга с полуслова.

Текст, лежавший в папке, был не докладом и не донесением. Это был анализ — холодный, почти бесстрастный, и оттого ещё более страшный.

Резидентура в Нью-Йорке сообщала: в последние шесть месяцев Молотов через третьи руки установил контакт с представителями администрации Эйзенхауэра. Не прямо — через австрийских посредников, через одного швейцарского банкира, через бывшего сотрудника госдепартамента, осевшего в Женеве. Обсуждались возможные параметры «нормализации» — дипломатический код, за которым стояло элементарное: в обмен на отказ от активной поддержки левых движений в Западной Европе и Юго-Восточной Азии американцы гарантируют невмешательство во внутренние советские дела при смене руководства.

Козлов перечитал последний абзац трижды.

Маленков, в свою очередь, через собственные каналы —

через болгарскую разведку, у которой были старые связи с итальянскими социалистами, — зондировал почву насчёт признания советского контроля над Восточной Европой в обмен на отказ от форсированной индустриализации Китая. Это было изящно: убрать китайский фактор, устранив саму причину, по которой Мао требовал от Москвы всё больше ресурсов.

Антипартийная группа не прекратила существование в июне. Она перешла на подпольное положение.

Теперь становилось понятным, почему Молотов в последние недели вёл себя так сдержанно на заседаниях Президиума — не спорил с Хрущёвым, не выдвигал альтернативных предложений, голосовал «за» по всем вопросам. Он не сдался. Он ждал. И выбор момента для инсульта — медицинская случайность, разумеется, чистая случайность, кто бы спорил, — оказался идеальным. Молотов был готов. Его план лежал на столе у Козлова под номером один.

Фрол Романович закрыл папку. Вызвал Серафима.

«Свяжись с Жуковым. Срочно. Нет — сперва с Серовым. Потом с Жуковым.»

Иван Александрович Серов, председатель КГБ, был фи-

гурой сложной. Сталинский выдвиженец, участник депортаций, человек с репутацией палача — и при этом один из немногих, кто поддержал Хрущёва в июне против Молотова и Маленкова. Не из идейных соображений. Из аппаратных. Серов понимал: возвращение Молотова означает чистку в КГБ, и первым пойдёт он сам. Это делало его союзником — временным, ненадёжным, но в данной ситуации бесценным.

Жуков — маршал, министр обороны, герой войны, национальная легенда — держал паузу. Военные не вмешиваются. Пока.

«Пока» было ключевым словом.

4. Машина выбора

17 сентября 1957 года, 21:00. Два часа сорок семь минут до бифуркации.

Козлов сидел один в кабинете. Он отпустил охрану — вернее, перевёл её в приёмную, сказавшись на срочную работу с документами, не требующую присутствия. На столе перед ним лежала карта мира — старая, ещё сталинских времён, с обозначениями военных округов и дислокацией дивизий первого стратегического эшелона. Рядом — несколько листов миллиметровки с расчётами.

Это был не тот анализ, который мог бы провести кто-то другой. Козлов обладал редким для советского руководителя качеством — способностью к системному мышлению. Он видел не отдельные факторы, а их взаимодействие, не статическую картину, а динамический процесс, не точки приложения сил, а всё силовое поле целиком. Это качество развилось в нём не благодаря партийной школе, а вопреки. Сын кузнеца, он с детства знал: металл ведёт себя по-разному в зависимости от температуры, от состава, от скорости удара. Мир был тем же металлом — только горячее.

Его расчёты показывали: окно возможностей составляет от трёх до пяти лет. Если за это время не будет создан фундамент советского пан-региона — не политические декларации, а реальная научно-технологическая база, от которой начнут зависеть союзники и на которую начнут ориентироваться нейтралы, — то к середине шестидесятых инерция американской модели станет непреодолимой. Она просто втянет в себя всё, что не прибито гвоздями.

Человек есть сумма его выборов.

Но что есть человек, которому предстоит выбрать не за себя — за сто восемьдесят миллионов? Не на год, не на пятилетку — на поколение вперёд? И не между хорошим и пло-

хим — это был бы простой выбор, — а между двумя путями, каждый из которых будет назван преступным в случае неудачи и гениальным в случае успеха, причём узнать, какой из них окажется каким, можно будет только *post factum*, когда выбирать будет уже поздно?

Отец когда-то рассказывал ему о кузнеце Егоре из соседней деревни, который взялся перековать лопнувшую ось телеги для помещика Трубецкого. Ось была старая, металл усталый. Егора предупредили: не сдюжишь — заporют. Он перековал. Ось выдержала. Но на следующий год треснула в другом месте, и помещик велел выпороть Егора за прошлогоднюю работу — задним числом.

Козлов часто думал об этой истории в последние дни. История не прощает ошибок, но она и не награждает за правильные решения — по крайней мере, при жизни. Правильное решение — это всего лишь отсутствие катастрофы. Отсутствие того самого звука, с которым трескается металл.

5. Геометрия предательства

Врезка: 12 сентября 1957 года, 03:15. Конспиративная квартира на улице Горького.

Серов говорил вполголоса, хотя квартира была проверена

трижды, а подъезд и двор перекрыты наружным наблюдением из двенадцати человек.

«Молотов встречался с югославами. Не с послом — с Радуловичем, это их военная разведка. Обсуждали вариант. Тито гарантирует нейтралитет при внутреннем перевороте в обмен на отказ от претензий по Белграду. Маленков через болгар выходит на итальянцев — у них там социалисты имеют влияние, — а итальянцы на госдеп. Это цепочка из четырёх звеньев. Мы перехватили курьера в Софии.»

«Что с курьером?»

«Молчит. Но документы при нём — шифровки. Вот копии.»

Серов положил на стол тонкую папку. Козлов не стал её открывать. Он и так знал, что там.

«Жуков?»

«Маршал ждёт. Он сказал: "Армия вне политики". Но я ему не верю.»

«Правильно делаешь.»

Серов помолчал. Потом спросил — тихо, почти шёпотом, словно стены могли услышать даже здесь, в специально оборудованном помещении:

«Фрол Романович, что будем делать? Если Молотов выйдет на Президиум... у него есть голоса. Булганин колеблется. Первухин колеблется. Сабуров — конкретно с ним, они ещё с сорок седьмого вместе. Если Никита Сергеевич не встанет...»

«Он не встанет.»

Козлов произнёс это так, что Серов не стал переспрашивать.

«Тогда что?»

«Тогда мы опередим их на шаг. На один шаг — но этого достаточно.»

6. Стеклянная сфера

17 сентября 1957 года, 22:30. Час семнадцать минут до бифуркации.

Козлов открыл сейф и достал оттуда предмет, которого

никто никогда не видел. Это была стеклянная сфера диаметром около пятнадцати сантиметров, заключённая в бронзовую оправу. Внутри сферы находился механизм — крошечные шестерёнки, балансиры, анкерные вилки, — но не часовой. Скорее, астрономический: модель небесной сферы, армиллярная сфера в миниатюре, выполненная с точностью, недоступной ни одному известному ювелиру.

Он держал её в ладонях и смотрел, как вращаются бронзовые кольца, каждое по своей оси.

Эту вещь ему передал три месяца назад академик Королёв при обстоятельствах, о которых Козлов не рассказывал никому. Сергей Павлович сказал тогда — они стояли на полигоне в Тюра-Таме, и ветер нёс песок, мелкий, как пыль, забивавшийся в складки одежды:

«Фрол Романович, я не знаю, как это работает. Я знаю только, что это не наше. Не земное.»

«А чьё же?» — Козлов тогда усмехнулся, думая, что Королёв шутит.

«Не знаю. Но тот, кто это сделал, понимал в небесной механике больше, чем все мы вместе взятые. Может, это будущее. Может — прошлое. Но оно здесь.»

Сейчас сфера лежала в его руках, и кольца вращались, хотя он не прикасался к ним. Медленно, плавно, словно подчиняясь не земной гравитации, а какой-то иной силе.

Он вспомнил отца. Кузницу в Лопатино. Огонь, уголь, звон металла. Отцовские руки — огромные, с вьёвшейся окалиной, такие сильные, что могли согнуть подкову, и такие точные, что могли выправить тончайшую пружину для охотничьего ружья.

«Ты смотри на металл, Фролка, — говорил отец. — Не на огонь. Не на молот. На металл. Когда он поёт — бей. Когда молчит — грей ещё.»

Сфера молчала. Или, может быть, пела — но на частоте, недоступной человеческому уху.

Козлов убрал её обратно в сейф.

7. Третий документ

17 сентября 1957 года, 23:40. Семь минут до бифуркации.

Он взял ручку.

На бланке с гербом СССР — золотой серп и молот на красном фоне, пятнадцать ленточек по числу республик, — он начал писать. Не проект постановления, не докладную записку, не аналитический обзор. Нечто иное — документ без названия и без адресата, текст, который не предназначался ни для одного архива.

«Государство есть не сумма институтов, а направление воли. Воля одного человека может быть сломлена сопротивлением среды. Но воля одного человека, совпадающая с направлением исторической необходимости, не может быть сломлена ничем — потому что на её стороне работает время, а время есть единственная сила, не знающая поражений.

Настоящим я принимаю на себя полноту ответственности за стратегический курс Советского государства на период 1957–1980 годов.

Цели:

Первое — внутренняя консолидация. Советский пан-регион не может быть построен на штыках. Он должен быть построен на технологическом превосходстве. Не на экспорте революции, но на экспорте развития.

Второе — опережающее развитие третьего технологиче-

ского уклада. Микроэлектроника как основа. Вычислительная техника как нервная система. Новые материалы как скелет. Всё это создаётся здесь, советскими инженерами, на советских предприятиях — без оглядки на западные патенты, без зависимости от импорта.

Третье — реорганизация управления по функциональному, а не территориальному принципу. Совнархозы есть тупик. Министерства в старом виде есть тормоз. Нужна матричная структура: отраслевые комитеты по горизонтали, региональные советы по вертикали.

Четвёртое — интеграция науки и производства на уровне, не имеющем прецедента. Академия наук становится не консультативным органом при правительстве, а непосредственным участником производственного процесса. Система: фундаментальная наука — прикладные НИИ — опытные производства — серийные заводы. Замкнутый цикл.

Пятое — кадровая революция. К управлению должны прийти люди нового склада — не партийные аппаратчики, а инженеры-управленцы, техническая интеллигенция, способная мыслить системно. Партия сохраняет идеологический контроль, но уступает оперативное управление профессионалам.

Противодействие неизбежно. Номенклатура будет сопротивляться. Союзники по блоку будут саботировать. Запад будет пытаться сорвать программу на ранней стадии — через эмбарго, через агентурное влияние, через информационную войну. Это не аргументы против. Это условия задачи.

История не даёт вторых попыток. Точка бифуркации проходит один раз.»

Он перечитал написанное.

Рука не дрожала. Строчки ложились ровно, как будто текст существовал всегда и ему оставалось только перенести его на бумагу. Почерк у Козлова был мелкий, убористый, с наклоном влево — графологи сказали бы: признак скрытности, внутренней замкнутости. Возможно. Но сейчас это не имело значения.

Он подписал документ — третий документ, тот, которого ещё не существовало в физическом мире, но который уже существовал в мире причин и следствий, уже запустил цепочку событий, ещё не произошедших, уже изменил ход истории, ещё не наступившей.

Точка бифуркации — это всегда одиночество.

Никто не скажет тебе, прав ты или нет. Никто не разделит с тобой тяжесть решения. Через двадцать лет одни назовут тебя спасителем Отечества, другие — тираном, душителем свобод, виновником краха. Но сейчас, в 23:47, есть только ты, зелёное сукно, и ручка, которая в твоей руке тяжелее любого молота — потому что молот бьёт по металлу один раз, а эта ручка бьёт по времени, и эхо от её удара расходится на десятилетия вперёд и назад, в прошлое, которое ещё не случилось, и в будущее, которое уже написано.

Он отложил ручку.

За окном зазвучали куранты — полночь наступала. Новый день. Новый мир.

Старый мир ещё не знал, что он умер.

8. Эхо

12 апреля 1961 года, 09:07. Космодром Байконур.

«Поехали!» — крикнул Гагарин, и ракета ушла в небо.

Козлов смотрел на это по телевизору в своём кабинете — в том самом кабинете, где три с половиной года назад он подписал документ, изменивший всё. Он видел огненный след,

прочертивший весеннее небо, и думал о том, что точка бифуркации — это не мгновение подписания. Точка бифуркации — это шлейф последствий, расходящийся концентрическими кругами, как круги по воде от брошенного камня.

Первый спутник — октябрь пятьдесят седьмого, через три недели после той ночи. Козлов продал программу через Президиум за четыре дня — случай беспрецедентный.

Первая ЭВМ на полупроводниках — пятьдесят восьмой, Зеленоград, изделие «Тополь», на два года раньше американских аналогов.

Первая автоматизированная система управления отраслью — пятьдесят девятый, Министерство среднего машиностроения.

Первая интегральная схема советского производства — шестидесятый.

Теперь — человек в космосе. Первый. Советский.

Круги расходились. Дальше будут ещё — и те, которых он ждал, и те, которых не мог предвидеть никто.

Где-то в сейфе, запертая на ключ, лежала стеклянная сфе-

ра. Кольца вращались. И никто не знал — пока не знал, — что именно отсчитывает их движение.

Глава 2. Стекло́нный гроб и свеча

Стратегическая метка: 3 января 1989 года, 04:12. Спецобъект «Заря-7», Приполярный Урал, квадрат 47-в. Уровень: 4-й этаж власти. Горизонт: оперативный. Температура наружного воздуха: -38°C . Глубина залегания объекта: 180 метров. Сейсмический фон: в норме. Радиационный фон: в норме. Режим: «Тишина».

1. Анатомия четвёртого этажа

Полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба Арсений Николаевич Горелов не спал третьи сутки. Это было не метафорой, не преувеличением, не фигурой речи. Он действительно не спал семьдесят один час, и его сознание находилось в том *resulgar* состоянии, которое военные медики называют «парадоксальной ясностью»: когда физическое истощение уже настолько глубоко, что мозг перестаёт сопротивляться и начинает работать с эффективностью, недоступной в нормальном режиме. Грань между сном и бодрствованием стирается. Мысли приобретают странную, почти осязаемую плотность. Время перестаёт течь линейно — оно сворачивается в кольца, как бронзовые

ободы той самой сферы, которую старик хранил в сейфе и о которой Горелов знал, хотя никогда её не видел.

Перед ним на металлическом столе — холодная нержавеющая сталь, шлифованная до зеркального блеска, — лежал стеклянный гроб. Именно так окрестили этот контейнер техники из 12-го отдела ГРУ, занимавшегося технической разведкой и перехватом: «стеклянный гроб». Шутка была мрачной, но точной. Прямоугольный бокс из кварцевого стекла с титановой оправой, заполненный аргоном сверхвысокой очистки — девяносто девять и девяносто девять сотых процента, — герметизированный по технологии, позаимствованной у разработчиков ядерных боеголовок. Внутри, в инертной газовой среде, на подложке из бескислородной меди, покоился микрочип. Германиево-кремниевая гибридная структура. Три миллиона двести тысяч элементов на кристалле размером восемь на двенадцать миллиметров. Технологический процесс — два микрона. Для 1989 года это было невозможно.

Невозможно — и тем не менее он лежал перед ним.

Последняя разработка закрытого НИИ-814, известного в документах как «Объект 2805» или просто «Институт», а среди посвящённых — как «Колыбель». Созданная по личному распоряжению Козлова в 1963 году, через два года по-

сле того, как он консолидировал власть и начал реализацию программы «Внутренний пан-регион». Распоряжение имело гриф «Абсолют» и было подписано в единственном экземпляре. Даже члены Политбюро не знали о существовании НИИ-814 первые десять лет. Когда узнали — было уже поздно: Институт оброс такой системой автономного жизнеобеспечения, такой сетью смежников и таким бюджетом, что ликвидировать его не мог никто, кроме самого Козлова.

Горелов знал об Институте всё. Или почти всё — что было дозволено знать начальнику аналитического отдела военно-технической разведки. Он курировал «Колыбель» от ГРУ последние четыре года, с тех пор как его предшественник генерал-майор Реутов скоропостижно скончался от сердечного приступа в собственном кабинете. Сердечный приступ был настоящим. Но Горелов знал: Реутов слишком много пил последние полгода. Пил — и проговаривался. А когда человек с четвёртым уровнем допуска начинает проговариваться, медицина бессильна.

Чип лежал в аргоне, и его поверхность отражала тусклый свет потолочных ламп — холодных, синеватых, дневного спектра. Горелов смотрел на него и видел не электронику. Он видел лицо Козлова. Серое, усталое, с запавшими глазами — такими же воспалёнными, как у самого полковника, — лицо, которое он впервые увидел двадцать два года назад,

когда был ещё лейтенантом, только что выпущенным из Военно-дипломатической академии.

2. Экскурс в слои

Врезка: 15 марта 1967 года, 11:00. Москва, здание Генштаба на Арбате. Первая встреча.

Он тогда не понимал, зачем его вызвали. Лейтенант Горелов, двадцать четыре года, аналитик третьего отдела — самая низовая должность в иерархии военной разведки, — не должен был попадать на совещания с участием членов Политбюро. Но его непосредственный начальник полковник Ерёменко сказал коротко: «Пойдёшь со мной. Молчи. Слушай. Запоминай. Никаких записей.»

В кабинете на пятом этаже было семь человек. Горелов запомнил всех — память у него была профессиональная, тренированная, позволявшая восстанавливать разговоры слово в слово даже спустя годы. Маршал Захаров, начальник Генштаба. Академик Келдыш. Министр среднего машиностроения Славский. Двое генералов из ГРУ, включая тогдашнего начальника управления Серова (не путать с тем Серовым — однофамилец, что в разведке случалось нередко и служило дополнительной маскировкой). И Козлов.

Фрол Романович говорил тихо, но каждое его слово падало в тишину, как камень в колодец. Он не диктовал. Он не приказывал. Он объяснял — и именно это было самым страшным. Потому что объяснения его были так логичны, так неумолимо последовательны, что возражать не мог никто. Не из страха. Из понимания: этот человек видит дальше.

«Американцы, — говорил Козлов, не заглядывая в бумаги (он никогда не заглядывал в бумаги на таких совещаниях — всё держал в голове, что казалось Горелову почти сверхъестественным), — американцы через семь-восемь лет завершат первый этап построения своего пан-региона. Это не военный блок. Это экономическая платформа. Доллар, корпоративные сети, технологический экспорт, контроль над патентами. После этого их военное превосходство станет производным от технологического, а не наоборот. Мы можем наращивать ракеты, танки и подводные лодки — это ничего не изменит. Они просто обойдут нас с фланга. А потом технологический разрыв станет необратимым.»

«Что вы предлагаете?» — спросил Захаров. Вопрос был риторическим — маршал знал ответ, но протокол требовал, чтобы он был озвучен.

«Обогнать. Не догнать — это невозможно, мы начинали позже. Обогнать. Мы пойдём не по тому же пути, а по-

другому. Параллельному. Германий вместо кремния. Оптоэлектроника вместо электроники. Нейросетевые архитектуры вместо фон-неймановских. Это риск. Но альтернатива — вечное отставание.»

Именно тогда Горелов впервые услышал слово «Колыбель». И именно тогда он впервые подумал: этот человек либо гений, либо безумец. Либо и то, и другое одновременно. А разница между гением и безумцем, как он понял много позже, только в том, сбываются ли предсказания.

3. Тело архитектора

28 декабря 1988 года, 22:40. Москва, Центральная клиническая больница.

Козлов умер тихо. Не как умирают вожди — на больничной койке, окружённый врачами, консилиумами, бюллетенями о состоянии здоровья, — а так, как умирают старые деревья: стоя, без свидетелей, в промежутке между двумя заседаниями. Он потерял сознание в своём кабинете в одиннадцатом часу вечера — том самом кабинете с зелёным сукном, видом на Спасскую башню и дубовыми панелями, которые видели всех генсеков начиная с Ленина. Охрана вызвала врачей. Врачи констатировали обширное кровоизлияние в мозг. Через сорок минут он умер, не приходя в сознание.

Ему было восемьдесят четыре года. Из них тридцать один год он правил страной — дольше Сталина, дольше Брежнева в той истории, которой не случилось. И всё это время он строил то, что называл «Внутренним пан-регионом»: технологическую империю, основанную не на экспорте идеологии и не на военной силе, а на научном превосходстве.

При жизни его называли по-разному. В официальной печати — «архитектором советского технологического прорыва», «продолжателем дела Ленина на новом историческом этапе». В кулуарах — «кузнецом», с уважением или с ненавистью, в зависимости от того, к какому крылу аппарата принадлежал говорящий. За границей — «советским сфинксом», «Красным инженером», «человеком, который украл будущее». Последнее определение нравилось Горелову больше всего — оно было ближе к истине.

Но теперь архитектор ушёл. И вместе с ним ушло знание — не то, что хранилось в документах (документы хранились в сейфах, опечатанные, с грифом «Особой важности», и ждали своего читателя), а то, которое хранилось в его голове. Общая картина. Замысел. Ответ на вопрос «зачем?» — тот самый ответ, ради которого всё затевалось.

Власть, думал Горелов, разглядывая чип, — это слоёный

пирог. Метафора была кулинарной, но точной. Публичная политика — первый этаж: Генеральные секретари, Президиумы Верховного Совета, съезды, пленумы. Здесь принимались решения, которые видел народ. Аппарат — второй этаж: министерства, ведомства, главки, отделы ЦК, инструкторы, секретари, помощники, референты. Реальная машина управления — те, кто превращал политические решения в административные действия. Корпорации — третий этаж: военно-промышленный комплекс, который при Козлове разросся до немыслимых размеров, девять министерств оборонного профиля, двести пятьдесят тысяч предприятий, двенадцать миллионов работающих, замкнутый цикл от фундаментальной науки до серийного производства, система, не имевшая аналогов в мире по глубине интеграции.

Четвёртый этаж — силовой, его собственный: ГРУ, КГБ, специальные службы, аналитические центры, закрытые НИИ, система стратегического планирования, которую Козлов создавал тридцать лет, и которая теперь осталась без хозяина.

Но пятый этаж — пятый этаж опустел. Архитектор ушёл, не оставив чертежей. Вернее, чертежи были, но не было того, кто мог бы их прочесть целиком. Каждый из преемников знал свой кусок, свой сектор, свою отрасль. Никто не знал целого. Козлов, из осторожности или из недоверия — скорее

из того и другого, — никогда не посвящал никого в общий замысел. Он был единственным хранителем карты. И теперь карта осталась без картографа.

4. Геология преемственности

Врезка: лето 1974 года. Объект «Колыбель», восточный склон Урала.

Дмитрий Фёдорович Устинов, тогдашний секретарь ЦК по оборонным вопросам, стоял перед Козловым в подземном кабинете на глубине ста восьмидесяти метров и пытался не показывать страха. Это было трудно. Козлов, сухой, подтянутый, в неизменном сером костюме (он носил серые костюмы все тридцать лет своего правления — единственная причуда, которую он себе позволял), смотрел на него и молчал.

«Фрол Романович, я не понимаю, — сказал Устинов, когда молчание стало невыносимым. — Почему именно германий? Весь мир переходит на кремний. Американцы вложили миллиарды в кремниевую технологию. У них Silicon Valley, у них Fairchild, Texas Instruments, Intel... Это магистральное направление. А вы предлагаете...»

«Я не предлагаю, — перебил Козлов. Он никогда не повышал голоса, но его тихая речь действовала сильнее любого

крика. — Я приказываю. И я объясню — один раз, — почему.»

Он подошёл к столу и развернул схему — огромный лист миллиметровки, исчерченный цветными карандашами. Схема изображала не производственный процесс. Это была карта зависимостей.

«Кремний — это ловушка. Вы думаете, американцы развивают кремниевую электронику, потому что это лучшая технология? Нет. Они развивают её, потому что это технология, которую они могут контролировать на всех этапах — от сырья до конечного продукта. У них есть чистейший кварц. У них есть заводы по производству монокристаллов. У них есть оборудование для литографии. И они выстраивают систему патентов так, чтобы никто другой не мог войти в этот рынок без их разрешения.

Мы можем купить их лицензии. Но тогда мы навсегда останемся на шаг позади. Они будут продавать нам позавчерашние технологии по вчерашним ценам и называть это помощью. А через десять лет окажется, что наша электронная промышленность полностью зависит от американских поставок — и достаточно одного эмбарго, чтобы остановить всё.

Германий — другое дело. У нас есть германий. В Забай-

калье, на Алтае, в Казахстане. Мы можем построить всю цепочку — добыча, очистка, легирование, производство подложек, литография — на собственной сырьевой базе. Да, это сложнее. Да, это дороже. Да, это потребует создания новых технологий с нуля. Но это единственный путь к подлинному суверенитету.»

Устинов смотрел на схему и чувствовал, как внутри у него что-то переворачивается. Он был опытным аппаратчиком, сталинской школы управленцем, человеком, который привык мыслить категориями плановых заданий, процентов выполнения, докладов и отчётов. Но здесь перед ним разворачивалась логика иного порядка — логика геополитического шахматиста, который думает на десять ходов вперёд и каждый ход которого меняет правила игры.

«И ещё одно, — сказал Козлов, сворачивая схему. — Германиевая электроника работает при низких температурах лучше кремниевой. Гораздо лучше. Вы понимаете, что это значит для ракетной техники? Для спутников? Для систем, работающих в космосе?»

Устинов понимал. С этого дня он больше не спорил.

5. Чип как палимпсест

3 января 1989 года, 04:47. Спецобъект «Заря-7».

Горелов оторвал взгляд от чипа и обвёл глазами комнату. Она была небольшой — четыре на пять метров, — но вмещала оборудование, стоившее как авианосная группа. Масс-спектрометр. Рентгеновский микроанализатор. Оптический микроскоп с разрешением до долей микрона. Установка для снятия электрических характеристик. Всё советское. Всё сделанное здесь, в закрытых КБ, по технологиям, которых не существовало на Западе — или существовало, но в других вариантах.

Тридцать лет Козлов гнал страну через пространство, которого на картах не существовало. Это не было метафорой. Карты — обычные географические карты — показывали рельеф, города, дороги, границы. Но Козлов действовал в другом измерении: в измерении технологических укладов, патентных портфелей, научных школ, производственных цепочек. Его пространством была не география, а технология. И в этом пространстве он перемещался с точностью, недоступной ни одному из его современников.

Пока мир смотрел на Карибский кризис — октябрь шестьдесят второго, — Козлов строил подземные заводы на Урале. Тридцать четыре объекта первой категории защищённости, рассчитанные на прямое попадание ядерного боепри-

паса мощностью до десяти мегатонн. Автономное энергоснабжение. Автономное водоснабжение. Автономная система очистки воздуха. Каждый объект — замкнутый цикл, способный функционировать без связи с поверхностью до восемнадцати месяцев.

Пока Кеннеди и Хрущёв играли в ракетную рулетку — и Хрущёв проигрывал, потому что к тому моменту он уже был не первым, а вторым, номинальным главой государства, отстранённым от реальных рычагов власти, — Козлов играл в другую игру. На пятьдесят лет вперёд. Вычислительная школа Урала — не один институт, а двенадцать, объединённых в распределённый научный кластер за десять лет до того, как слово «кластер» вошло в экономический лексикон. Биопизика Обнинска — исследования в области молекулярной биологии и генетики, о которых официальная советская наука под властью Лысенко не смела и мечтать, но которые шли под грифом «Особой важности», потому что Козлов понимал: следующая технологическая революция будет биологической, и к ней нужно быть готовыми.

Закрытые города-спутники. Не те, что строились вокруг ядерных объектов — эти были другими. В них жили не физики-ядерщики, а математики, программисты, лингвисты, специалисты по искусственному интеллекту. Дети в этих городах учили китайский и программирование с первого клас-

са — потому что Козлов предвидел: через поколение Китай станет либо главным союзником, либо главным противником, и в обоих случаях нужно будет с ним разговаривать на его языке, в прямом и переносном смысле.

Никто не понимал. Аппарат ненавидел его за секретность — и за то, что бюджеты уходили в неизвестность, в объекты без названий, в институты без вывесок. Народ роптал — за отсутствием колбасы и очереди за хлебом, потому что ресурсы перераспределялись в пользу науки и технологий, а не потребления. Интеллигенция шепталась о «технократическом тоталитаризме» — и была в чём-то права, потому что режим Козлова действительно был тоталитарным, только не в привычном смысле. Это был тоталитаризм цели. Все ресурсы, все силы, все мозги — на один проект. Проект «Выживание».

Но он знал: или технологический суверенитет сейчас, или распад через поколение. И он оказался прав — пока что.

Горелов смотрел на чип. Германиево-кремниевая гибридная структура. Три миллиона двести тысяч элементов. Два микрона. Для 1989 года — научная фантастика. Для сравнения: лучшие американские чипы того времени — Intel 80486, ещё не вышедший на рынок, только в лабораториях, — имели около миллиона двухсот тысяч транзисторов на

кристалле при технологическом процессе один микрон. Но это был кремний — более простая, более освоенная технология. А здесь — германий. Более быстрый. Более устойчивый к радиации. Более пригодный для космоса и военных применений.

И совершенно неизвестный никому за пределами «Колыбели».

6. Призраки в аргоне

3 января 1989 года, 05:01.

За дверью слышались шаги.

Горелов не обернулся. Он обладал тем особым качеством, которое вырабатывается у людей, долго прослуживших в разведке: способностью идентифицировать человека по звуку шагов. Эти шаги были тяжёлыми, размеренными, с той особой армейской чёткостью, которая выдавала строевую подготовку. Генерал-полковник Власенко, заместитель начальника ГРУ по технической разведке. Не самый худший вариант. Но и не самый лучший.

«Не спишь, полковник?» — голос Власенко был хрипловатым, как у всех, кто слишком много курил «Беломор» на

протяжении тридцати лет службы.

«Не сплю, товарищ генерал-полковник.»

«И правильно. Не время спать.»

Власенко вошёл в комнату, остановился у стола, посмотрел на чип. Он был высок — на полголовы выше Горелова, — грузен, с тяжёлым лицом и маленькими, глубоко посаженными глазами. Бывший танкист, переведённый в разведку в середине шестидесятых, когда Козлов начал массово рекрутировать в аналитические структуры людей с техническим образованием и боевым опытом. Не самый тонкий аналитик, но исполнительный, преданный и — что важнее всего — лично обязанный Козлову карьерой.

«Связь с Москвой была, — сказал Власенко, не глядя на Горелова. — В Кремле драка. Язов против Ахромеева. Ахромеев хочет сохранить курс. Язов — за "нормализацию", что бы это ни значило. Чебриков молчит. Шеварднадзе мечется. Горбачёв...»

Он не закончил. Имя Горбачёва повисло в воздухе, как незакрытый гештальт.

Михаил Сергеевич Горбачёв, пятьдесят семь лет, секре-

тарь ЦК по сельскому хозяйству, один из младших членов Политбюро — Козлов не допустил бы его до реальной власти никогда, потому что видел в нём ровно то, чем он был: аппаратчика-карьериста с хорошей риторикой и нулевым стратегическим мышлением. Но Козлов умер. И теперь Горбачёв, поддержанный частью номенклатуры, уставшей от тридцатилетней мобилизационной гонки, пытался перехватить штурвал.

«А что Лигачёв?» — спросил Горелов.

«Егор Кузьмич держится. Но ему семьдесят. И он никогда не был стратегом — он исполнитель. Крепкий хозяйственник, но не более.»

Горелов кивнул. Он знал Лигачёва лично — несколько раз пересекался на совещаниях. Честный, жёсткий, преданный курсу, но без козловского масштаба мышления. Без способности видеть систему целиком.

«Кому всё это достанется?» — спросил он, кивая на чип.

Власенко долго молчал. Потом сказал — тихо, почти шёпотом:

«Есть вариант. Но он тебе не понравится.»

7. Тени на контуре

3 января 1989 года, 05:15.

Они сидели в маленькой комнате отдыха рядом с лабораторией. Власенко курил — одну за другой, стряхивая пепел в жестяную банку из-под болгарских консервов. Горелов не курил принципиально: считал, что зависимость от никотина — непозволительная роскошь для аналитика.

«Картина следующая, — говорил Власенко, и его голос звучал глухо, как из-под земли (что, собственно, соответствовало действительности). — В Политбюро сейчас двенадцать человек. Из них четверо — люди Козлова, старой гвардии. Лигачёв, Воротников, Зайков, Рыжков. Ещё двое — Соломенцев и Громыко — старики, они поддержат любого, кто предложит им сохранить посты. Остальные — нейтралы или скрытые сторонники Горбачёва. Расклад хрупкий. Если Горбачёв сумеет заручиться поддержкой армии...»

«Язов, — перебил Горелов. — Дмитрий Тимофеевич. Министр обороны. Амбициозен, неглуп, не любил Козлова — старик его дважды обходил по службе. У него обида.»

«Именно. И он командует военными округами. Формаль-

но. Реально — Генштаб расколот. Ахромеев за преемственность. Начальники управлений — кто куда. Но ключевой вопрос — спецобъекты. Такие, как этот.»

Власенко сделал паузу, затушил окурок и сразу закурил новую.

«Четыре дня назад, тридцатого декабря, Горбачёв встречался с американским послом. Неофициально. На даче у Шеварднадзе. Тема — технологическое сотрудничество. Они предлагают нам доступ к кремниевым технологиям — литография, процессоры, память, — в обмен на "открытость". Горбачёв называет это "конверсией": перевести часть военных производств на гражданскую продукцию, интегрироваться в мировую экономику, получить западные инвестиции. Красивые слова. Но ты понимаешь, что это значит.»

Горелов понимал. Конверсия в исполнении Горбачёва означала одно: открыть американцам доступ к советским технологическим разработкам. К германиевой электронике. К «Колыбели». К тридцати годам закрытых исследований, которые стоили стране сотен миллиардов рублей и которые составляли единственное реальное преимущество СССР перед Западом.

«Он их продаст, — сказал Горелов негромко. — Просто

продаст. За кредиты, за поставки ширпотреба, за место в "общеевропейском доме".»

«Да. И именно поэтому мы здесь. Этот чип, — Власенко кивнул на дверь лаборатории, — последний прототип. Предсерийный образец. Рабочий. На нём можно строить целое поколение вычислительной техники — гражданской и военной. Если он попадёт к Горбачёву, а от Горбачёва к американцам... всё. Конец игры. Нас просто скупят.»

Горелов молчал. Он думал о Козлове. О том, как тот тридцать лет держал в голове картину, которую не мог видеть никто другой. О том, как он строил параллельную технологическую цивилизацию внутри советской — не для того, чтобы победить Запад в холодной войне, а для того, чтобы пережить её. Потому что Козлов знал: холодная война кончится. Все войны кончаются. Вопрос в том, что останется после.

И вот теперь то, что осталось после, лежало в стеклянном гробу на столе.

8. Афганская свеча

3 января 1989 года, 05:32.

Горелов достал из кармана кителя спичечный коробок.

Старый, потёртый, с этикеткой «Балабановские спички» — дефицит, между прочим, не во всяком московском магазине найдёшь. Он возил его с собой уже шесть лет, с тех пор как вернулся из последней командировки в Афганистан.

Он чиркнул спичкой. Вспыхнул огонёк — маленький, жёлтый, живой. Зажёг свечу — старую, церковную, восковую, с оплывшими боками. У неё был свой запах — воска и ладана, — странно неуместный в стерильной атмосфере подземной лаборатории.

«Ты чего это?» — спросил Власенко удивлённо.

«Не знаю. Захотелось.»

Он смотрел, как пламя отражается в стекле контейнера, как дрожит и множится, преломляясь сквозь аргон. Чип внутри казался теперь не оружием будущего, не плодом тридцатилетних трудов, не ключом к технологическому суверенитету. Он казался мощами — святыми мощами технологической эпохи, которая могла наступить, но, кажется, уже не наступит.

Горелов вспомнил Афган. Не войну — войну он помнил плохо, память услужливо стирала детали, оставляя только общий фон: пыль, жара, камни, бесконечные камни, — а

один конкретный вечер. Май восемьдесят второго. Перевал Саланг. Они сидели в палатке — четверо офицеров ГРУ, прикомандированных к сороковой армии, — и пили чай. И один из них, капитан Сафронов, зачем-то зажѣг свечу — такую же церковную, привезѣнную из Союза. И сказал:

«Знаешь, Арсений, в чём разница между нами и ними? Мы воюем за будущее. Они — за прошлое. За вещи, которые уже умерли и не знают об этом. А мы — за то, что ещё не родилось. Это труднее. Но это единственное, ради чего стоит.»

Через неделю Сафронова убили. Он попал в засаду на дороге к Кабулу и умер, не дожив до тридцати. Но слова его остались. И сейчас, в четыре часа утра под землёй на Урале, Горелов думал о них снова.

За что они боролись? За будущее, которое лежало теперь в стеклянном гробу, в аргоновой среде, под землёй, на глубине ста восьмидесяти метров, — невидимое, неизвестное, никому не нужное, кроме горстки офицеров четвёртого этажа, которые ещё не сдались?

Или за будущее, которое уже не наступит, — погребѣнное под спудом аппаратных игр, личных амбиций, усталости, страха, желания «нормализации», желания жить как все, желания, чтобы холодная война наконец кончилась — любой

ценой?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.